

16+

АНДЗЭЙРЭЛ

Анастасия Шевченко
Нежелательная

Анастасия Шевченко

Нежелательная

«ЛитРес: Самиздат»

2021

Шевченко А.

Нежелательная / А. Шевченко — «ЛитРес: Самиздат», 2021

Анастасия Шевченко - российская общественная и политическая деятельница. Она первый в России человек, на которого было заведено уголовное дело по обвинению в участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Анастасия признана политической заключённой и узницей совести. Лауреат премии Бориса Немцова 2019 года. Анастасия Шевченко рассказывает свою историю о том, как она, мать троих детей из Ростова-на-Дону, стала угрозой конституционного строя Российской Федерации, потеряла старшую дочь и провела 2 года жизни под домашним арестом.

© Шевченко А., 2021

© ЛитРес: Самиздат, 2021

Анастасия Шевченко

Нежелательная

Посвящается Алине

Часть первая

1

Холодное темное утро, мы с сыном Мишей встаем рано, он первоклассник, первая смена. Минут пятнадцать нужно, чтобы его разбудить в школу. Его форма висит на стуле в зале, чтобы не будить дочь и маму. Завтракает Миша всегда в школе, поэтому от него требуется только проснуться, умыться и одеться. В тот понедельник, 21 января, все шло по привычному плану, но в местном чате «Открытой России» друг за другом стали приходить сообщения, что под дверью у одной из активисток стоит полиция и они не знают, что делать. Меня просят приехать и разобраться на месте. Я обещаю быть сразу после того, как провожу сына в школу. Мы укутываемся потеплее и выходим. Спускаюсь на лестничный пролет, оглядываюсь на Мишу, а он стоит у нашей двери, окруженный толпой мужчин в штатском. Я бегу обратно. На тесной площадке стоят восемь человек. Я не различала лиц, высокие, одеты в черное и темно-синее, большинство примерно одного со мной возраста или чуть моложе. Темное пятно сползло в наш дом с лестницы и по коридору. Просят вернуться в квартиру. Обыск. Я пытаюсь им объяснить, что сыну надо в школу. Говорят: «Сегодня школы не будет». Я хочу предупредить классного руководителя, но телефон сразу забирают. Мы толпимся в узком коридоре моей съемной квартиры. Миша растерянно хлопает ресницами и, кажется, вот-вот заплачет. Следователь вручает мне бумажку, содержание которой я понимаю не сразу. Ясно, что они пришли с обыском в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении меня, только непонятно, что за статья. Я пытаюсь сохранять спокойствие, чтобы Миша не запаниковал, но руки дрожат. Говорю ему, что школу сегодня он пропустит, и помогаю раздеться. В квартире все еще спят моя дочь Влада и мама. Следователь просит их разбудить. Я прохожу в квартиру и громко говорю: «Мама! Влада! Вставайте. У нас обыск».

Все не задалось с самого начала: я родилась холодной осенью в бурятском поселке Дыре-стуй, в четырехстах километрах от границы с Монголией. В этот день из-за бури отключили электричество, и я появилась на свет при тусклом огне керосиновой лампы. Мама привезла домой меня и вшей, которых подцепила в роддоме Дырестуя. В два года я чуть не умерла от пневмонии, а в пять лет упала с горки и разбила голову о кирпич. Врачи намекнули маме, что я могу остановиться в развитии. Тем не менее школу я окончила на отлично, с одной четверкой по физре. На первом курсе института я попала в автомобильную аварию. Тогда врачи, увидев у меня на голове огромную гематому, похожую на осьминога, сказали маме, что жить мне, возможно, осталось три дня. Оказалось, что невролог был уволен из больницы за пьянство незадолго до моей аварии, поэтому моим лечащим врачом назначили стоматолога. Утром на обходе он всегда говорил: «Ну, по крайней мере, зубы здоровые». То, что у меня была сломана кисть руки, обнаружилось только спустя полтора месяца после аварии. Уже будучи взрослой и мамой троих детей, я сломала руку просто в автобусе, а сейчас у меня в квартире проходит обыск. Но друзья считают меня везучей.

2

Четырнадцатилетняя Влада с самого детства обладала качествами, которые я с большим трудом вырабатываю в себе всю жизнь. Влада умеет постоять за себя, легко принимает реше-

ния, не тратит время на сомнения и не стесняется говорить прямо. Миша больше похож на меня.

В первый день в школе он заплакал прямо на линейке. Он очень скучал по дому, и бабушке пришлось сидеть с ним на уроках. Влада в его возрасте уже получила первое замечание в дневнике от классного руководителя: «Ваша дочь бьет других детей». Меня постоянно отчитывали на родительских собраниях. С возрастом стало проще, однако незадолго до обыска у нее был конфликт с одноклассником. Поэтому, когда Влада проснулась от моего крика, она испугалась, что полиция вломилась в дом по ее душу. Но, как только поняла, что это не так, испуг сразу прошел.

Когда мне наконец-то удастся уговорить следователя дать мне телефон, чтобы воспользоваться правом на звонок, все адвокаты, с которым я пытаюсь связаться, еще мирно спят. Но я знаю, что «Правозащита Открытки» меня не бросит и скоро кого-нибудь точно найдут. Было понятно, что после обыска меня повезут на допрос, но непонятно, куда потом. Я собираю сумку, беру самое необходимое: зубную щетку, пасту, расческу, мыло, контейнер для линз, штаны и кофту на смену. Эшники кивают и тоже советуют собрать вещи «на всякий случай».

У следователя Толмачева длинная, сложная должность. Высокий, подтянутый, даже красивый, ведет себя интеллигентно, не грубит, но проводит все действия машинально, без всяких эмоций. Чего не скажешь о сотрудниках центра по борьбе с экстремизмом – ребята копаются в моих вещах с нескрываемым удовольствием. В шкафу мамы они нашли желтую футболку с надписью «Надоел». Эшник Валентин радостно взвизгивает и демонстрирует находку, видимо, серьезную улику, но Толмачев никак не реагирует. Больше эшник Валентин не взвизгивал, даже когда нашел у меня на шкафу старый флаг «Открытки». Его коллега, лысый эшник, завис над экранами моего айфона и айпада. С обысками по этому делу в то утро пришли еще по шести адресам: к моим друзьям, знакомым и незнакомым в разных городах. Я не успела отключить гаджеты, и на экране каждую секунду появляются уведомления из чатов. Лысый эшник наслаждается паникой, которую им удалось нагнать. Он блесит и кричит. Я прошу его не трогать телефон. Перечить мне при Толмачеве он не стал. Я запомнила: всегда отключать уведомления.

Понятыми позвали, как принято в таких случаях, студентов, прописанных в какой-то общаге. Их двое. Они молча наблюдают за происходящим. Со стороны казалось, что им неудобно, особенно когда спустя четыре часа обыска в зал вошел Миша и крепко меня обнял, уткнувшись носом в мой живот и скрывая слезы. Он долго так стоял, и тогда я подумала о том, когда я вообще смогу его увидеть в следующий раз. Я улыбнулась и как можно увереннее сказала, что все будет хорошо.

К концу обыска страх добрался до мамы, и она заплакала, потому что решила, что меня посадят и мы не увидимся больше. Я пыталась ее успокоить. У мамы поднялось давление, а прилечь было некуда: кровати детей перевернуты, кресло-кровать мамы сложили, а разложить не получалось, что-то заело, на моем диване разложены найденные при обыске трофеи. Я попросила эшника Валентина починить мамину кровать, и он долго с ней ковырялся. Потому что Ikea.

Спустя пять часов с начала обыска меня везут на допрос. Мне разрешили накраситься. Сказали взять с собой денег на обратную дорогу и документы на всех троих детей. Прощаться с семьей было тяжело, но я улыбалась, чтобы их не расстроить. Руки больше не дрожат. Нашелся адвокат. В следственное управление мы едем с эшником Валентином. Непонятно, по какой причине он считает себя умным и убедительным. Всю дорогу он говорит, что мне надо всех сдать, во всем признаться, «чтобы мне было лучше», ведь в любом случае мне никто спасибо потом не скажет, моя судьба сломается, а надо о детях думать. Иначе, говорит, их ждет детский дом. Замолчи.

В «Открытую Россию», общественное движение Михаила Ходорковского, я вступила в 2016 году. Как у мамы ребенка с инвалидностью, у меня огромный опыт безуспешных попыток обращаться к депутатам и администрациям разных уровней. Меня возмущала организация работы врачебных комиссий, отсутствие жизненно необходимых лекарств, нормального ремонта в детских больницах, низкие пенсии. Я писала письма и жалобы, обращалась на горячие линии. Я боролась со школьными поборами, ямами на дорогах, отсутствием сортировки мусора, вырубкой деревьев и плохими ливневыми стоками. Мне казалось, что так и должно работать гражданское общество, но особенность российской власти – отмахиваться от людей, считая их неумными, надоедливymi и даже опасными. Никакого диалога «власть – общество» в стране нет. Системе не нужны герои, их задача – писать отчеты и выслуживаться перед «центром». Так я и начала заниматься политикой: хотела изменить эту реальность на ту, в которой все работает для людей.

Я пробовала себя в разных объединениях – от левой КПРФ до правоцентристской партии «Гражданская инициатива», но по-настоящему своих людей я встретила в «Открытке» – креативных, уверенных в себе, ярких и смелых. Я не испытываю иллюзий, просто именно там я нашла друзей и единомышленников. К тому же мне всегда нравился Ходорковский. Я смотрела его первое интервью после освобождения, мне было интересно, как он изменился за десять лет тюрьмы, сломался ли, жалеет ли себя или готов бороться дальше.

На собеседовании в «Открытку» меня спросили, чем я могу быть полезна движению, а я чувствовала в себе такой потенциал и желание помогать, менять жизнь к лучшему, просвещать и рассказывать. На этом драйве я очень быстро собрала команду, и мы открыли ростовское отделение движения «Открытая Россия». Долгое время наша команда была одной из самых активных в стране. Как раз в это время РПЦ были переданы права на здание единственного в городе детского театра кукол. Мы пытались театр отстоять, о чем и говорили на круглом столе с участием экспертов из Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга. К нам приехало много гостей из других городов, и все прошло отлично. Я чувствовала себя счастливой и нужной. Оглядываясь назад, все время думаю о том, сколько полезного наша команда смогла бы сделать, если бы не начавшиеся преследования.

3

В следственном управлении меня уже ждал адвокат Сергей Ковалевич, который тогда не очень понимал сути обвинения. Еще бы: первое в России дело по ст. 284 п. 1 УК РФ. Следователь Толмачев тоже не очень понимал, что со мной делать, и постоянно выходил согласовывать каждое решение с Москвой. «Мы ничего не решаем. Как скажет Москва». Мной одной занимается целая бригада взрослых мужиков из Ростова и столицы. Мой папа – военный, отчим – военный, муж – военный. Я привыкла.

Почти всю жизнь я прожила на служебных или съемных квартирах. Хозяйка ростовской съемной квартиры живет в Москве, видела я ее два раза в жизни – при просмотре и при заселении. Я даже имени ее полного толком не знаю, а теперь именно от этой женщины зависит, окажусь я в СИЗО или под домашним арестом.

Эшник Валентин сидел в кабинете следователя напротив меня. Они с Толмачевым, казалось, играли в доброго и злого полицейского. Задачей эшника было периодически угрожать моим детям детдомом. После моего отказа от показаний по традиционной 51-й статье Конституции РФ следователь впервые заговорил про домашний арест. Говорит: «Звони хозяйке квартиры. Или она дает согласие на пребывание под домашним арестом в ее квартире, или поедешь в СИЗО». Я не хотела звонить хозяйке. Услышав про уголовное дело, она скорее всего попросит освободить квартиру, и вся моя семья окажется на улице. Но звонка настойчиво требовала Москва.

– Мне нельзя под домашний арест: у меня в интернате старшая дочь, мне нужно туда ездить.

Когда в 21 год я забеременела дочкой, муж выбрал имя Алина. Мне тогда больше нравилось Алиса, но спорить не стала. Рожала в бурятском поселке Петропавловка. Роддом был закрыт на ремонт, поэтому пришлось лежать со схватками в коридоре гинекологии. Произошло трехкратное обвитие пуповиной. Когда Алина появилась на свет, она не заплакала, а чуть захныкала скорее. На третий день врачи решили отправить ее в республиканский центр Улан-Удэ для обследования, а мне ехать с дочкой запретили. Муж принес пуховое одеялко и подушечки: в конце августа в Бурятии уже холодно.

Обследование показало, что все органы в порядке, ребенок набирается сил. Врачи разрешили мне покормить Алину грудью и пригласили через неделю приехать на выписку. Каждый вечер я молилась и плакала. Мамы не должны возвращаться из роддома без ребенка. Шесть часов на поезде в общем вагоне, чтобы увидеть дочь. 2001 год, мобильных телефонов нет, узнать о ее состоянии оперативно не получится. Мы ехали на выписку с другом мужа на машине, полные надежд. Но когда мы приехали, в детском отделении сказали, что нашу дочь этой ночью перевели в реанимацию. Мы долго ждали врача, который все объяснит, а лучше скажет, что это ошибка и с Алиной все хорошо. Доктор принял нас в кабинете. На своем врачебном, непонятном молодым родителям языке он рассказал, что у Алины резко поднялась температура, диагноз – менингоэнцефалит. «Сгорело» левое полушарие головного мозга, последствия необратимы, «будем делать все возможное, но от ребенка лучше отказаться прямо сейчас».

– Какой она вырастет?

– В самом лучшем случае Алина научится обслуживать себя.

Решение, оставляем ли мы ребенка, доктор попросил озвучить сегодня же. На раздумье дали пару часов, пока доктор на обеде. Мы с мужем молча вышли. Мне 21, ему 23 года, мы не умели принимать решений, мы были не готовы. Как можно быть к такому готовым? Как может сгореть мозг? Как может ребенок так сильно заболеть в больнице? Что значит «обслуживать себя»? Как мы вернемся домой без дочки? Было так холодно и больно. Из советчиков рядом оказался только друг мужа, у него уже были дети, и он был гораздо опытнее нас. Друг без раздумий сказал:

– Отказывайтесь.

Мы приняли решение и объявили его доктору: мы забираем дочку домой.

Первый месяц казалось, что наша Алина – вполне здоровый ребенок, а потом стало ясно, что все, развитие остановилось. Она была красивым пухлым кудрявым малышом, но научилась только фокусировать взгляд. Держать головку, хватать предметы, жевать, узнавать близких мы так и не научились за почти восемнадцать лет жизни, если это можно назвать жизнью. Появились болезненные судороги, искривление позвоночника и много других проблем.

Пятый курс университета пришлось оканчивать заочно. Пока я сдавала сессию, с дочкой сидел папа, брал декретный отпуск. Учиться мне всегда было легко, государственные экзамены я сдала на отлично. Последним шел экзамен по методике – самый нелюбимый предмет. Для комиссии было важно, чтобы студент знал всех авторов методик не только по фамилии, но и по имени и отчеству. Запомнить было сложно, поэтому я впервые в жизни воспользовалась чужой шпаргалкой. Я убрала ее в парту и пошла отвечать на отлично. Выхожу из кабинета довольная: все экзамены сданы, у меня будет красный диплом, можно ехать домой. Тут за мной по коридору бежит преподаватель и зовет обратно в аудиторию. Первая мысль: провал, шпаргалку обнаружили, какой стыд. Я уныло поплелась, предчувствуя скорую казнь, но комиссия встретила меня радушно: они оказались впечатлены моими знаниями по предметам и попросили остаться работать в Иркутском государственном лингвистическом университете преподавателем, даже пообещали комнату в общежитии. Хотела ли я работать в университете? Очень. Пришлось объяснять целой комиссии, почему я не могу согласиться на их предложение. Я

нужна моему ребенку 24/7. Преподаватели начали жалеть меня и Алину, а я такое выношу с трудом, поэтому быстро попрощалась и ушла. Теперь я шла по коридору совсем с другим чувством – никакой радости от красного диплома больше не было.

4

– Вам придется позвонить хозяйке квартиры.

Шесть часов я сижу в кабинете у следователя.

Я не хотела звонить и рассказывать постороннему человеку, что мне грозит тюрьма, озвучивать то, во что самой не хотелось верить, и делать это на глазах у других посторонних людей.

Когда усталость взяла верх, я набрала номер. Хозяйка уехала путешествовать и была недоступна, поэтому всю ситуацию пришлось объяснять ее дочери. Я говорила спокойно и тихо, голос немного сдавило. На удивление семья хозяйки мой рассказ восприняла спокойно, даже с сочувствием, но физической возможности получить от хозяйки согласие с ее подписью не было.

Следователь Толмачев тоже устал. С его слов, он не спал с 4:30 утра. Рано встал, чтобы караулить нас с сыном в подъезде.

Стало ясно, что домой в этот день я не вернусь. Следующим испытанием было позвонить и сказать это маме, не напугав ее и не расстроив. Мама отреагировала так, будто ничего не произошло. В этом мы похожи – прячем чувства как можем. После разговора с ней и мне стало спокойнее. Москва решила отправить меня в изолятор, пока не решится квартирный вопрос.

Толмачев проголодался и хотел домой. Он так злился, что даже забыл про роль хорошего полицейского и тоже пригрозил моим детям детским домом прямо при адвокате. Эта угроза не работала: у детей, к счастью, есть бабушка и отец, с которым они продолжают общаться. Внезапно подобревший эшник Валентин принес еду из «Макдоналдса» себе и мне. Бургер из его рук я брать отказалась. Я хорошо помнила советы, которые нам давали на правозащитных семинарах, о том, что в кабинете следователя нельзя ничего пить и есть: могут подсыпать «порошок правды». Не знаю, так ли это, но я в тот момент ясно соображала, несмотря на усталость.

Когда решение об изоляторе было принято, от угроз перешли к намеку на сочувствие. Валентин подсел ко мне и сказал, что они из меня сделают нового Нельсона Манделу. Откуда в его голове возникла такая аналогия, представить не могу. С обысков и допросов друзей пришли на меня посмотреть и другие эшники, все хорошо знакомые мне люди. Эшники ведь сильно похожи друг на друга фигурой, стрижкой, стеклянным взглядом, стилем одежды, видеорекамерой в руке. Я думаю, в игре «Крокодил» их проще всего изобразить – угадают мгновенно.

Мы ждали конвоя в коридоре, поговорить со мной пришел невысокого роста пухленький эшник, не подходящий особо под стандарты. Мы встречались раньше. Он встал напротив меня, прислонился к стене и, как будто под грузом угрызений совести, начал свой монолог «Ну почему вы?». Глаза блестели, весь румяный. Признаться, я за тот день тоже много раз задавала себе этот вопрос. Несмотря на неодобрительную реакцию других, пухлый эшник все говорил про то, что это несправедливо, что именно я, что я умная и красивая, что я похудела благодаря тренировкам, что я могла бы открыть бизнес, не надо было связываться с политикой, что ему меня жалко. Говорил с претензией на искренность. В коридор вышел Толмачев, и разговоры закончились. Я спросила только, будут ли наручники. Мне ответили, что будут обязательно. Еще мне пообещали толпы тараканов и клопов, отвратительную еду и красочно расписали ужасы изолятора. Я никогда не жила в роскошных условиях, быт меня не пугал совершенно – эту тему оставили. Возле входа, со слов адвоката, меня ждали журналисты. Я спросила: «Сколько?» Толмачев с ухмылкой ответил: «Пятьдесят». Позже я узнала, что возле входа стоял один корреспондент «Коммерсанта» – Никита Королев. Не ради фото, скорее в качестве поддержки. Тем не менее вывести меня решили не с центрального входа, чтобы я в наручниках под объектив фотокамеры не попала. Конвой ехал долго. Наручники – это такой

странный первый опыт, особенно когда рядом Валентин предлагает сфотографироваться вместе со мной, как с трофеем. Было уже очень темно. Меня проводили до автозака всей толпой, хотя конвоя хватило бы. В такой машине я была впервые. Вооруженный конвой сел на лавочку, а меня заперли в маленькой клетке. Ехали в полной темноте, пока конвой не включил видео в телефоне – это отвлекало. Я знала, что меня везут в изолятор Кировского ОВД, родного для меня. Этот ОВД задерживал меня на три часа в день рождения Путина, а позже накануне выборов Путина за расклейку стикеров «Стоп Путин». Географически понимала, где это, но, где там изолятор, не представляла. Мы долго не могли попасть внутрь, застряли во дворе. Так и сидели в темноте. На улице лаяли собаки. Время тянулось, менялась реальность.

Самый первый штраф за политику я получила за «несанкционированный» пикет в защиту Конституции России. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пять тысяч рублей. Мне стало страшно и странно. Я всегда соблюдала закон и была той, кто требовал соблюдения закона от других. Почему я сижу в суде? Судил меня голубоглазый мужчина с волнистыми волосами по фамилии Федоров. Я представила, что на самом деле он искренний и совсем не злой. А потом он оштрафовал меня на пять тысяч. Я не стала рассказывать об этом семье.

Я начала выходить на акции протеста и участвовала в проекте «Вместо Путина». Это такой проект, в котором политики и общественные деятели предлагают себя как альтернативу действующей власти, отвечая на популярный аргумент «Кто, если не Путин?». В апреле 2017 накануне акции «Надоел», посвященной отсутствию в стране сменяемости власти, прокуратура выпустила странное заявление – признать нежелательной британскую организацию Open Russia Civic Movement. Было совершенно непонятно, что значит «нежелательная организация» и как это может нас коснуться. Экстремистская – да, понятно, да и сейчас всех подряд уже причисляют к экстремистским, а нежелательная? Когда я только пришла в «Открытую Россию», я знала, что на них постоянно давит государство, всячески мешает им заниматься проектами, а каждый год традиционно в офисах проходят обыски. Но мне не было страшно, потому что было стойкое ощущение, что я не делаю ничего криминального и хочу только лучшего для своей страны. Тогда мне казалось, что репрессии всегда происходят с кем-то другим.

Свой первый штраф за участие в деятельности нежелательной организации я получу за участие в дебатах. Штраф за участие в политических дебатах просто потому, что я представляю «Открытую Россию».

Для российской политики дебаты – очень редкое явление. Путин, например, ни разу за политическую карьеру не участвовал в дебатах, а я решилась. С единороссом. Готовить меня к дебатам с членом «Единой России», партией власти с худшей репутацией, которую только можно иметь, вызвалась целая команда. Мы обсуждали варианты вопросов и ответов, готовили список шуток и цитат. Я никогда не участвовала в дебатах и, конечно, волновалась, и прямо накануне мне позвонил Ходорковский, чтобы подбодрить и помочь с аргументами.

Дебаты должны были проходить в Таганроге. По дороге мы снимали видеоблог, шутили и не ждали никаких сюрпризов. Перед началом мероприятия на всей улице отключили электричество. Гости, ведущие и спикеры оказались в полной темноте в кафе под названием «Октябрь», так что первая часть дебатов проходила при свечах. Спорить с единороссом легко: он не может говорить то, что думает, он излагает только позицию партии, а я была абсолютно искренна. Дебаты снимались местным телеканалом, и, как только запись остановили, провластный депутат стал намного смелее в выражениях, а кое-где даже полностью соглашался с моей позицией. Расстались мы, пожав друг другу руки. Депутат подарил мне букет красных роз и почему-то пулю, найденную им на раскопках. Дело завели по доносу нодовца Алексея Шильченко, который сам не присутствовал, но следил за дебатами в социальных сетях. НОД – это

национально-освободительное движение, проправительственные активисты, основной задачей которых является противостояние оппозиции. По заказу местных администраций они срывают акции оппозиционеров. После следующего его доноса на меня заведут второе административное дело.

Осенью 2017 года я организовала в Ростове-на-Дону онлайн-встречу с Ходорковским. На вопрос о феминизме Ходорковский ответил, что в тюрьме, например, нет никакого равенства между мужчиной и женщиной. Женщине тяжелее сидеть: к женщинам редко приезжают, они редко получают посылки. У мужской колонии стояли очереди из жен, детей и матерей, а женщин быстро забывали, стыдились таких родственниц. Женский труд в колонии нещадно эксплуатируют. Год в женской колонии, по мнению Ходорковского, должен идти за два. Тогда я впервые задумалась, смогу ли я отсидеть за свои убеждения.

Второе административное дело возбудили за участие в семинаре, фактически за подготовку к выборам. В рамках проекта «Открытые выборы» к нам в Ростов приехали эксперты, чтобы рассказать, как вести предвыборную кампанию: юридические аспекты, работа с волонтерами и публичные выступления. На семинаре собрались представители разных партий и движений, среди них и я, причем исключительно как слушательница. Спустя несколько минут после начала семинара в зал вошла полиция. Спикеры не стали делать перерыв, семинар продолжался. Тогда кто-то из людей в погонах спросил: «Кто здесь Шевченко?» Опросили всех участников и ушли. На второй день семинара снова пришла полиция. Я в тот день занималась с детьми и отсутствовала. Тем не менее всех снова опросили – снова обо мне и «Открытой России». Можно ничего не делать, а тебя все равно признают нарушителем. Так и случилось. На этот раз меня судила яркая блондинка в серебристых босоножках на высокой платформе, которые выглядывали из-под мантии. Ей было неинтересно слушать меня, она хотела скорее покончить с делом. Снова штраф. Аргументы о том, что я не имею отношения к британской организации, во внимание не приняты.

После возбуждения второго административного дела стало тревожно, потому что это означало перспективу возбуждения уголовного. В моих сохраненных сообщениях в телеграме появился текст расшифровки статьи 284 п. 1 УК РФ и предусмотренная по ней уголовная ответственность.

Решение по второму делу вступило в силу в конце августа 2018 года. Варианта залечь на дно не было: я была членом федерального совета «Открытой России», и статус обязывал – не могла пасовать и отступать. За меня, конечно, переживала вся семья. Мама больше всех, часто повторяла: «Будь осторожнее». Отвечала ей: «Я ведь ничего плохого не делаю, мама». Несправедливости вокруг много, я всегда реагирую, принимаю близко к сердцу. Где можно помочь – помогаю, где нужно выразить протест – протестую.

Наступил момент, когда я все для себя решила. Прислушивалась к себе, готова ли я пойти до конца за свои убеждения, и чувствовала силы. Хотелось доказать, что нет никаких нежелательных людей и организаций, нет у власти права штрафовать за дебаты и семинары, невозможно так нагло и без повода преследовать активных граждан. Казалось, что система едет на меня большим катком, а я не хочу ни убегать, ни отходить в сторону, ни отворачиваться. Могу только встретить открыто и показать, что я сильнее, честнее и что правда на моей стороне.

5

С этого момента я осталась наедине с собой. Моего города вокруг больше не было, он исчез. Квартира, где мы жили семьей, была по-прежнему рядом, всего в двух остановках от изолятора, но теперь казалось, что между нами пропасть. Я в другой реальности, с другими запахами, другими стенами, без неба и солнца. Точно как в «Нобелевской премии» Пастернака.

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружку ходу нет.

Все, что связывало меня с прошлой жизнью, – это красная дорожная сумка, которую я наспех собрала дома. При входе сумку забрали и куда-то унесли, меня отправили ждать чего-то в какую-то маленькую камеру. Полная неопределенность. Как в космосе, вокруг этой камеры темно и никого нет. И я совсем одна. Холодно. Я укуталась в светло-сиреневый пуховик с белым мехом – он был ослепительно ярким на фоне серых сырых стен. В камере была только деревянная скамья. Наверное, она называется там нарами или шконкой, но мне хотелось думать, что это просто скамья. Все было очень грязное. Каждый сантиметр стен исписан: имена, даты, номера статей УК РФ, крики души, типа «меня подставили менты» или «прости меня, мама». Отчаяние наполняло камеру. Я не должна была там быть, мне там не место. Я закуталась в пуховик еще больше, накинула капюшон так, чтобы не видно было ничего вокруг, согнулась пополам и закрыла глаза. Через мех куртки медленно вдыхала аромат своих духов, постепенно весь ужас вокруг исчез. Я почти уснула.

Спустя примерно час загромыхал замок в железной двери. Я медленно развернулась из своего клубочка, тело от холода было не способно на резкие движения. За мной пришли. Мне предстояло исследовать другие помещения изолятора, проснулось любопытство. Интуиция подсказывала, что хуже этой маленькой камеры уже не будет. Меня повела по коридору на досмотр женщина в серой, как и все вокруг, форме. В кабинете я увидела свою красную сумку, но легче не стало. Постепенно, украдкой, на цыпочках стал подкрадываться страх. Конечной точкой сегодняшнего дня должна была стать камера изолятора, и дальше – ничего. Больше никуда меня в этот день не поведут, и я боялась остаться наедине с собой. Пуховик может спасти тебя от реальности на час, но не на сутки, а то и больше. Этот день длиною в жизнь кончится. Утро в мягкой кровати и объятия сына, а вечером страшная камера изолятора.

В пустой камере с тремя кроватями, так было решено называть для себя нары, я оказалась одна уже перед отбоем, почти в десять вечера. Я безуспешно пыталась отмыть черные руки. Сняли отпечатки ладоней, а смыть эту черноту нечем – нет воды. Хорошо, что с собой были салфетки для снятия макияжа. Почти вся пачка ушла на то, чтобы отмыть ладошки хотя бы до серого цвета. Макияж решено было не смывать. Мне не дали подушку, поэтому я положила под голову свои вещи, накрылась с головой простыней и крепко уснула, несмотря на то что свет горел всю ночь, а я в прежней жизни спала всегда только в полной темноте.

Утром в изоляторе меня разбудило радио «Дача» попсовыми песнями 90-х – хуже не придумаешь. При досмотре у меня отобрали часы и предупредили, что время узнавать я смогу только по радио.

Никогда не делала утреннюю зарядку, а тут начала с удовольствием разминаться и приседать. Примерно в семь утра 22 января меня накрыло. Мне стало очень страшно.

Я все контролировала в своей жизни. За месяц до ареста ко мне в гости приезжала подруга Яна, и я ей жаловалась, что нельзя жить так, как я. Все беру на себя, ничего не делегирую. Мои дети и мама были абсолютно несамостоятельными, они совершенно не знали город, запросто могли заблудиться. Им и не надо было его знать: я возила их на машине. Покупки, коммунальные проблемы, накопления и кредиты, планы и важные решения, отпуск и каникулы, ремонт и переезд – все было на мне. И вот в семь утра я поняла, что больше ничего не контролирую. Вообще. Никак не могу повлиять на свою судьбу и, что самое страшное, помочь маме и детям. Я чувствовала, как в двух автобусных остановках от меня проснулась моя семья. Страшно было подумать, что у них на душе этим утром. Я думала о том, как дети, сонные, идут умываться и собираются в школу. Дочке в школу утром не надо, но она наверняка пойдет провожать брата вместе с бабушкой. Я видела, как они бредут по покрытому льдом тротуару в школу. Радио «Дача» сообщило, что утро морозное.

Меня от злости душили слезы, но плакать я не могла себе позволить: в углу под потолком висела видеокамера, нельзя показывать слабость. Я начала быстро ходить по камере туда и

обратно. Мне было так страшно за детей и маму, все думала, справятся ли они, и понимала, что Алина точно без меня не справится. Если она заболит, то все. Кроме меня некому помочь. Надо было что-то делать. Я всегда находила выход в любой ситуации, но не в этот раз. Я была абсолютно бессильна. И от этого стало еще страшнее.

Все мы рано или поздно проходим через унижение. Бывают унижительные ситуации, высказывания, но редко нас унижают намеренно и подолгу. Российская система наказания же построена на намеренном и постоянном унижении. С утра до вечера, изо дня в день. И все понимают, что такая система не может исправить ни одного преступника, а вот сломать человека – запросто. Мое унижение началось с кабинета досмотра в изоляторе.

Накануне обыскали мою красную сумку. Не разрешили взять с собой в камеру дезодорант: он был в стекле. Я старалась покупать меньше пластика, берегла природу, но стекло в изолятор нельзя, забрали. Забрали и паспорт с золотой цепочкой. Женщина в форме попросила подготовиться к досмотру. Для этого нужно раздеться догола. Бюстгальтер женщина забрала сразу, потому что он был с металлическими косточками, обещала вернуть, когда повезут в суд. Я подчинилась. Стою посредине серого кабинета без бюстгальтера, в кружевных белых стрингах, как дура. Женщина просит трусы снять, повернуться и раздвинуть ягодички. Унижительно? Наверное. В тот момент мысли были лишь о том, какая странная у этой женщины работа и как в свои 39 лет с высшим образованием и красным дипломом я оказалась в ситуации, когда доверие ко мне проверяется через ягодички. Женщина, казалось, почувствовала себя неловко, потому что я только успела повернуться, а она уже попросила меня одеться. Я натянула джинсы и теплый серый свитер, который мне подарила мама.

Вошел мужчина примерно одного со мной возраста, похожий на моего одноклассника Федю, который учился стабильно на «два». Мужчина оказался очень разговорчивым. С видом эксперта он предупредил, что обычно у всех в изоляторе начинается понос – так организм реагирует на стресс. Туалетной бумаги нет, поэтому «по-мусульмански подмываемся водичкой каждый раз». Заполняя анкету, спросил, какой у меня натуральный цвет волос. Пояснил, что это нужно на случай, если я сбегу, а у меня к тому времени волосы отрастут. Хотя потом уточнил, что к концу срока у меня, скорее всего, волосы будут полностью седыми, и так тоже организм реагирует на стресс. Узнав, что по образованию я лингвист-переводчик, мужчина ненадолго меня зауважал, ведь ему так и не удалось выучить английский в школе. Информацию обо мне он вносил в старый пыльный компьютер – такое допотопное оборудование было у меня в классе информатики в 90-х годах. Вбивая в анкету статью 284 п. 1 УК РФ, мужчина завис вместе с компьютером, потому что не было такой статьи в истории заполнения. Пришлось рассказать, что мое дело – первое в стране. Я рассказала про «Открытую Россию». Оставшееся время в кабинете я провела, слушая монолог мужчины о том, как Ходорковский развалил страну и, видимо, поэтому я тоже буду сидеть. Или не поэтому. Русский язык давался мужчине тяжело, как и английский в школе. Логика в его монологе тоже отсутствовала, но он чувствовал себя большим начальником в этом кабинете и обращался ко мне исключительно на «ты». Я спросила, почему он «тыкает». Ответ был незамысловат: «Я со всеми здесь на “ты”. И ты привыкай, по-другому уже не будет». На полу стояло несколько пластиковых контейнеров с остывшим бледно-желтым супом. Мужчина щедро предложил взять сколько хочу, ведь ужин я пропустила, а это все равно выбрасывать придется. Потом еще сильнее подобрел и предложил мне пару сигарет. Я ответила, что не курю. «Закуришь», – парировал он. Воспользовавшись его внезапным порывом щедрости, я спросила, не найдется ли у него для меня книги. Он встал из-за стола и с важным видом широким жестом распахнул передо мной выдавший виды лакированный шкаф. Я просияла, увидев там две потрепанные книжки: Салтыков-Щедрин и Некрасов. Салтыкова-Щедрина хватало мне и в жизни, выбор пал на Некрасова. На этом беседа была окончена. Мужчина проводил меня в камеру. Как меня и предупреждали, основными обитателями камеры изолятора были тараканы, причем обитали они кучно, в основном

возле раковины, ждали, как и я, когда дадут воду. Еще в камере был большой стол и скамья. Туалет, а по сути дыра в полу, был расположен напротив видеокамеры и отделен невысокой перегородкой с дверцей. Рядом с дырой предыдущие арестанты заботливо оставили бутылку с водой. Она лежала на батарее, поэтому была всегда теплой. Пахло при этом в камере не туалетом, а табаком. Было жутко накурено. Я сняла контактные линзы, чтобы похуже все видеть, особенно тараканов. Помогло, ведь зрение у меня минус пять, но, лежа на кровати, я слышала, как падают с раковины тараканы и бегут по полу обратно. Нам с тараканами очень не хватало воды. Из крана можно было собрать несколько капель при условии, что ты не включал воду часа три. А я привыкла пить много воды.

Летом 2018 года правительство Российской Федерации цинично объявило нам об увеличении пенсионного возраста именно во время чемпионата мира по футболу. Такой простой расчет: использовать спортивный праздник, радость и воодушевление людей для того, чтобы сбить протестную волну. В знак несогласия я организовала акцию «Красная карточка Медведеву» – мы собирали подписи против пенсионной реформы на имя премьер-министра России. Акцию поддержали и в других регионах.

Этим же летом с активисткой партии «Яблоко» запустили флешмоб «Труссы протеста», сфотографировались на улицах Ростова-на-Дону с плакатом «Обобрали до трусов», прикрывшись им так, что было ощущение, будто на нас ничего нет. Такой провокацией мы хотели привлечь внимание к тому, что у людей украла пенсию и сделали их еще беднее.

Осень 2018-го прошла для меня под знаком неопределенности и тревоги за будущее. Я готовила новые проекты, строила планы в «Открытке» и одновременно начинала каждый день с просмотра вакансий на сайтах поиска работы. Чувствовала, что впереди какой-то рубеж. Много путешествовала и училась, как будто за один год решила посмотреть мир, чтобы потом... сесть в тюрьму? Да, было такое предчувствие.

В декабре возбудили уголовное дело по статье за наркотики против координатора «Открытки» в Пскове Лии Милушкиной и ее мужа. Я это приняла очень близко к сердцу. Мы знакомы, у нас обеих дети, сыновья одного возраста, я постоянно примеряла на себя то, что произошло с ней. Лию отправили под домашний арест, и в память врезалось фото, где она плачет, стоя на коленях на фоне здания суда. С тех пор мы с мамой стали часто говорить вечерами о том, что тоже можем оказаться в подобной ситуации.

Примерно в это же время активизировались тюменские следователи, и другому активисту «Открытки» Антону Михальчуку, у которого тоже было два административных дела, дали понять, что уголовное дело не за горами. Мы общались с Антоном, я его поддерживала. Тогда он решал, оставаться в стране или уехать, а я все думала, почему он, почему не я. Уверена была, что первое уголовное дело возбудят в отношении меня, интуитивно чувствовала это. После долгих сомнений Антон уехал из страны. Многие считали, что меня трогать не будут: слишком жестоко даже для нынешней власти брать в заложники женщину с детьми. Ошиблись. Моя интуиция оказалась сильнее, но радоваться этому не пришлось.

К тому времени мне уже сто раз посоветовали уехать из страны. И близкие люди, и просто знакомые. Но близкие понимали, что я не могу уехать. Моя старшая дочь Алина жила в интернате для серьезно больных умственно отсталых детей в городе Зверево, в двух часах езды от дома. Ей было семнадцать с половиной лет. Я была нужна ей. Были и другие причины: страшно все начинать сначала в 39 лет с детьми и мамой. И с мужем я официально не разведена, мы ждали военный сертификат на квартиру. Но главное – Алина.

Всю осень за мной по пятам ходила полиция и липкие, одинаковые сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. В какой бы город я ни приехала, какое бы мероприятие ни посещала, они всюду следили за мной. Оставляя им в каждом городе по объяснению, я пользовалась 51-й статьей Конституции, чтобы не давать показания против себя. Это чертовски напря-

гало, спокойно спать и расслабляться получалось только за пределами страны. Иногда дома я просыпалась счастливой, с полным чувством безопасности и гармонии просто потому, что мне снилось, что я сплю не в России.

6

Приступ страха утром постепенно ослаб. Я уговорила себя заниматься всем чем угодно, только не думать. Я отжималась от стола, качала пресс на кровати, приседала, читала Некрасова, вспоминала асаны из йоги. Время тянулось. В 8 утра в коридоре загромыкала тележка – привезли завтрак. Есть совершенно не хотелось. Я ждала, что сейчас откроют дверь, я увижу новое лицо, поздороваюсь и поблагодарю за завтрак. Вместо этого открылось маленькое окошко в двери и мне просунули миску с какой-то едой. Как животному в клетке. Это было так унижительно и так неожиданно, что слезы снова подступили очень близко и я с трудом выдавила из себя грудным низким голосом: «Доброе утро. Спасибо». В ответ окошко молча захлопнули. Этот момент стал для меня самым унижительным за все время. Не раздевание догола, не гадкие шутки, не тараканы и грязный матрас комочками, а то, что тебе сквозь щель протягивают еду молча. Я рухнула на твердую кровать спиной к видеокамере и зажмурила глаза, чтобы не разреветься. Самые неприятные моменты – это жалость к себе. Такое надо глушить сразу. Есть я не стала, плакать тоже. Стена у кровати, как и во всей камере, была исписана. Я задумалась, чем же арестанты царапают стены: все металлическое отбирают при входе. На уровне моих глаз была выцарапана вчерашняя дата, имя и номер статьи. «Совсем свежая надпись», – подумала я. Посмотрела другие: почти каждый день новая надпись на стене, а статья чаще всего одна – наркотики. Вместо имен в основном клички. Я бы ни за что не оставила на этой стене надпись, даже если было бы чем. Для меня это значило оставить здесь след, часть себя, смириться. Никогда и ничего общего между мной и несвободой не будет, я не смирюсь и не стану частью этой системы, как бы меня ни унижали. Смотрела на стену и думала: что же там сейчас в реальной жизни? Где дети? Сильно ли волнуются, не болеет ли Алина, как друзья, лучше ли маме, что сегодня дома на обед? Зрительная память мгновенно рисовала родные лица, комнаты, запахи. Потом вдруг вспомнила, что записана сегодня на коррекцию бровей. Впервые в жизни записалась на брови, причем к одному из лучших мастеров города. Запись была почти за месяц. Я так ждала этого дня, ведь я никогда не красила брови, было любопытно, что получится. Неудобно было перед мастером, ведь даже позвонить и предупредить об отмене не смогла. И фитнес пропустила, а абонемент куплен. Такие мелочи, но они говорили мне, что я больше никогда не буду той Настей. Все. Привычная жизнь безвозвратно утеряна. Но я все равно за нее держалась.

За двое суток в изоляторе я каждый раз с ужасом ждала, когда будут просовывать миску с едой в щель. Боялась, что опять захлестнут слезы, но больше этого не повторилось. Я не брала их еду. Единственной моей едой в первый день пребывания в изоляторе стали конфетки, которые я нашла в кармане красной сумки, – дочка положила мне их украдкой. Это было так трогательно и так на нее похоже. Вот я вроде бы одна в камере, а чувствую ее заботу.

К обеду первого дня в камеру пришли с осмотром. Перевернули все вещи, поставили меня в коридоре лицом к стене, с ухмылкой спросили, откуда у меня секс-игрушки, показав на контейнер для линз. В ответ я попросила выключить радио. На меня посмотрели с удивлением, ведь я не буду знать время. В камере было небольшое окно под потолком, очень грязное, через него с трудом, но можно было разглядеть небо и понять, когда же кончится этот день. Радио выключили.

В обед адвокат принес мне радостную новость – нашлась квартира, хозяйка которой готова меня приютить. Мы беседовали с адвокатом в отдельной комнате за железной дверью, мне нужно было подписать договор аренды квартиры. Адвокат всматривался в меня, чтобы понять, в каком я состоянии. Сломлена или нет. В комнате были только стол и два стула, но там

было хорошо, потому что не так пахло табачным дымом. Стулья были намертво прикручены к бетонному полу. Я это поняла, пока безуспешно пыталась придвинуться к столу.

Моей спасительницей оказалась Наталья Крайнова, мы были знакомы раньше, виделись раза три. Я перебирала в уме имена тех, кто мог бы сдать мне квартиру или приютить у себя на время, но в этом списке ее не было. Уже позже я узнала, что Наталья всегда занималась благотворительностью. В двухкомнатной квартире, купленной для мамы, после ее смерти она поселила оставшихся без жилья погорельцев, а потом семью девочки, заболевшей по дороге на море, а потом друга, который пока не нашел жилье. Наталья помогала детским домам, хосписам, друзьям, знакомым и незнакомым. Мне повезло оказаться в ее круге общения. В тот день Наталья сама пришла к следователю Толмачеву, ответила на все его вопросы, получила статус свидетеля по моему уголовному делу и отдала меня от СИЗО, приблизив домашний арест. Со слов адвоката, следователь был немного удивлен такой бескорыстной поддержке, при этом идти в суд именно в тот день ему не хотелось, несмотря на все просьбы защитника. Поэтому в изоляторе мне придется провести на сутки больше. Ну и ладно, зато появился шанс снова увидеть детей и маму.

Три года после постановки диагноза мы с Алиной интенсивно лечились. Я летала из Бурятии в Ростов-на-Дону каждый квартал, в НИИ акушерства и педиатрии. Лететь девять часов, в самолете Алина кричала, а на меня кричали все пассажиры. Бесполезно было объяснять, что это не обычный ребенок – валериана или поглаживание животика тут не помогут. После первого курса лечения был прогресс – Алина научилась улыбаться, правда, только когда видела лампочку. Она всегда плакала, поэтому даже улыбка лампочке была счастьем, ей очень шла улыбка. Родись Алина сейчас, может быть, все было бы иначе. Я бы обратилась в благотворительные фонды, нашла бы деньги, увезла бы лечиться в Германию, и, наверное, мы бы научились «обслуживать себя». Тогда же я писала письма, отправляла выписки с диагнозом уже плохо помню куда, но помню, что петербургская клиника нам ответила отказом – слишком тяжелый ребенок. Спустя три года нам отказал и ростовский НИИАП, в котором мы все это время лечились. Улыбаться Алина перестала даже лампочке. Врачи НИИАПа были уже как родные, мне не верилось, что больше они нас не возьмут. Мне сказали, что все, ничего не сделаешь, что вот есть хороший дом-интернат, есть контакты, мы поможем, отказывайтесь. Я тогда была беременна Владой, трехлетнюю Алину постоянно носила на руках, поэтому был большой риск, что Владу я не выношу. Лучший специалист, к которому меня отправили врачи детского отделения НИИАПа, строго меня отчитал после УЗИ и рекомендовал делать аборт, потому что умереть может не только плод, но и я. Тогда мне было 24 года, я все еще не умела принимать решений, но беременность сохранила и от Алины не отказалась. Мы переехали в Ростовскую область.

Я видела много мамочек больных детей, серых и заплаканных, уставших и нервных, горячо любящих, брошенных мужьями. Государство минимально помогает детям-инвалидам, но добиться даже этой помощи – испытание. Это квест для родителей и страдание для детей. Моей Алине инвалидность приходилось продлевать каждый год, несмотря на заключения врачей, несмотря на то, что даже голову держать ребенок не может. Проходить комиссию с тяжелобольным ребенком – это ад: ребенку надо лежать, каждое прикосновение приводит к крику, нужно принимать лекарства по часам, нужно есть перемолотую теплую пищу из бутылочки, а не ждать в очередях. Все ради пенсии в восемь тысяч рублей и льготных лекарств. А пенсия нужна, потому что мама не может работать. Лекарства нужны для жизни без боли, но даже с рецептом их получить – еще один квест. Тогда я прочувствовала на себе все прелести социальной политики нашего государства.

Мы жили в съемном двухкомнатном частном доме. Родилась Влада, спать ее выносили на улицу, потому что Алина часто плакала и кричала. Муж уезжал в командировки в Чечню,

где было небезопасно, мы с девочками его ждали и переживали. Денег было в обрез, соседи помогали продуктами: домашние яйца, молоко, фрукты из сада. Среди соседок была одна женщина из службы соцзащиты, она иногда заходила к нам просто так, а потом пришла с предложением – отказывайтесь.

Я каждое утро заплетала Алине косички, ей это не нравилось, но так надо было, потому что волосы на затылке постоянно путались, она же все время лежала. Потом кормление и лекарства по часам. Ела она каши, перетертые супы, фруктовое пюре и йогурты. С лекарствами было сложнее, приходилось их добывать с боем. Бывало, пропускали несколько дней, потому что невозможно было купить ни в одной аптеке. В такие дни Алина постоянно плакала и судороги усиливались, было страшно и жалко, ведь ни помочь, ни объяснить ребенку, что Минздрав в этом месяце нужное лекарство не закупил. Гулять тоже было проблематично: в детскую коляску дочка уже не помещалась, а инвалидная нам не подходила – Алина не могла сидеть, скатывалась, голову и спину не держала, если зафиксировать, сразу плакала. Вечером детей по очереди купали, стирали пеленки и укладывали спать. Я не могла себе представить, кто будет заботиться так об Алине, если я от нее откажусь. Но тетенька из соцзащиты была настойчивой, убеждала, что отказываться не надо, что в интернате Алина просто будет на лечении, можно будет в любое время забрать домой.

Когда Алине исполнилось 4 года, нам наконец дали служебную трехкомнатную квартиру в военном городке. Я, честно говоря, обрадовалась, что тетенька из соцзащиты к нам часто ходить перестанет. У Алины теперь была своя комната, на стенах розовые обои с мишками, разноцветные светильники и тюль, яркое постельное белье, большая кровать на заказ с мягким бортом. Влада из этой комнаты не вылезала, но спать в ней с Алиной она бы не смогла: ночью Алина плакала, громко и долго. Покачать или спеть колыбельную – такое с ней не работало. Просыпалась и прибегала Влада, до четырех утра могла с нами сидеть. Просыпались соседи снизу, а потом жаловались на нас в ЖЭК с требованием выселить. Мне пришлось отправить Владу в садик в год и восемь. Она была еще совсем крохой, и мы обе с ней рыдали при расставании, но для нее так было лучше. Воспитатели удивлялись поведению маленькой Влады: она ни с кем не разговаривала, но за всеми молча убирала игрушки.

Из садика Влада каждый месяц приносила разные болячки, которыми мгновенно заражала старшую сестру. Для Алины любая простуда – двойное мучение: ребенок не может самостоятельно ни кашлять, ни высморкаться, мокрота скапливается, от высокой температуры судороги становятся чаще, таблеток приходится пить вдвое больше. Боролись с вирусами как могли, каланхоэ закапывали в нос, чтобы чихала, грудь простукивали, чтобы отходила мокрота. Однажды было совсем плохо, температура не падала, я раздела Алину догола, чтобы сбить жар, и вызвала доктора. Отлучилась на пять минут проверить кашу, возвращаюсь – на Алине верхом сидит маленькая Влада и рисует у нее на груди зеленым фломастером какие-то каракули. Вот-вот придет врач, а у меня тяжело больной ребенок изрисован зигзагами. Пробовала отмыть – бесполезно. К нам приехал сам заведующий отделением, Алину он хорошо знал по всяким комиссиям и болячкам. Он очень строго на меня посмотрел, видимо, выглядела я в тот момент так себе, потом послушал Алину, не обратив внимание на зеленые каракули, выписал кучу лекарств и стал меня отчитывать. Я плохая мать, я не думаю о здоровом ребенке, она вырастет психически ненормальной, я запустила себя, Алине лучше в интернате, чем вечно переносить садиковские вирусы. Он говорил это так убедительно и строго, что я только молча кивала.

После того случая я сама впервые заговорила с мужем об интернате для Алины. Он всегда уходил от принятия решений, сваливая это на меня. В этот раз прозвучало традиционное «решай сама». И я решила, со слезами, с депрессией, не сразу, но решила. Сама нашла тетеньку из соцзащиты, та быстро отыскала нам место в интернате для тяжелобольных детей г. Зверево, и мы поехали. Интернат мне понравился, как ни странно: во дворе цвели розы, пахло едой,

хороший ремонт, чисто и, главное, очень приветливые и добрые сотрудницы, которые возились с такими же, как Алина, детьми с утра до следующего утра. Моим условием было то, что я остаюсь матерью своей дочери, отказ не подписываю, могу забирать Алину домой и в любое время звонить. Я сама понесла пятилетнюю дочку в ее новую кроватку в интернате, рядом лежали другие детки, через большое открытое окно дул легкий летний ветерок. Правильно я делала или нет, я не знала. Поцеловала Алину и вышла. Всю долгую дорогу домой я ревела навзрыд так, как не плакала больше никогда, без остановки, захлебываясь. Каждую секунду становилось только больнее. Водитель, муж и тетенька из соцзащиты сначала пытались успокоить, потом просто молчали. Я думала, Алина не проживет без меня и ночь, ведь только я знаю, как о ней заботиться.

Возле дома стоял синий таксофон, с которого я сразу побежала звонить. В интернате ответили, что все хорошо, поела, спит. Я бродила вокруг таксофона сутками со слезами, не решаясь звонить больше, чем раз в день, мне было стыдно, что я вечно реву в трубку и отвлекаю медсестер от детей. У Алины все было хорошо поначалу, мы приезжали к ней, кормили, гуляли. Косички отстригли, мне было их очень жалко, но я понимала, что у персонала времени на прически нет. Плакать Алина почти перестала, спокойно лежала на руках: сейчас у нее были совсем другие лекарства, и они помогали. Но со временем постепенно деформировался скелет, о чем нас давно предупреждал врач. Колени перестали разгибаться до конца, скрючился позвоночник. Если бы была ежедневная гимнастика и массаж, которые мы делали дома, такого не случилось бы или было бы не так выражено, наверное. Очень скоро Алина заболела бронхитом, и ее перевели в Зверевскую ЦГБ. Сотрудники интерната сопровождают детей только до больницы, дальше ответственность лежит на родителях, поэтому мы лечились с Алиной вместе.

Первое время мы виделись часто, я очень тосковала, постоянно звонила в интернат. Я устроилась на работу, Влада ходила в садик, в комнате Алины теперь жила моя мама, которую я перевезла из Бурятии, больную и разбитую, но понемногу приходящую в себя. Мы все по Алине скучали, было решено на время моего отпуска забрать ее домой, чтобы посмотреть, сможем ли мы справиться сами, ведь в интернате нам дадут необходимые лекарства. Дочь привезли домой, она действительно была гораздо спокойнее, ела хорошо. На радостях мы кормили ее самой разнообразной и полезной едой, обнимали, целовали и не отходили. Алине никогда особенно не нравилось находиться у мамы на руках, а со временем еще и отвыкла. Через несколько дней дома у нее начались проблемы со здоровьем. Я не могла понять от чего – от недостатка лекарств или от домашней пищи, но появилась сыпь, она стала беспокойной, началась рвота. Я звонила в интернат, консультировалась, рекомендовали везти обратно, чтобы врач обследовал. Обратно просто так не привезешь: если ребенок дома больше трех дней, надо сначала сдать все анализы, а потом уже в интернат, а значит, снова носить ее по кабинетам и мучить. Мы прошли всех врачей и отвезли Алину. Обратно я ехала без слез. Мне, наоборот, стало спокойнее, потому что теперь она рядом с врачом. Жизнь моей дочери – это мука. Дети не должны так страдать. За что?

7

Неожиданно сотрудник изолятора принес передачу от Натальи: кофе, чай, колбасу, сыр, печенье, влажные салфетки, прокладки. Позже она рассказывала мне, что это был ее первый визит в изолятор и как это было унижительно – раскрывать упаковки, резать колбасу, чтобы доказать, что там нет наркотиков. Я много раз собирала передачи в СИЗО, их прием – процедура не из приятных. Тем не менее вернулась я в свою камеру с надеждой и пакетом продуктов. Есть по-прежнему не хотелось, но я мечтала о кофе, а воды не было никакой. Я набралась наглости и попросила сотрудника изолятора принести мне кипяток, только потом вспомнила, что из посуды есть лишь пластиковый стаканчик. Мужчина почему-то был добр ко мне, разговаривал не через щель, а открыв дверь. Он налил мне кипяток и сказал, что могу обращаться

к нему в любое время. Наконец в камере запахло кофе. Аромат разлетелся, и стало даже домашнему спокойно настолько, что я решилась раскрыть пачку печенья и впервые поесть. Потом я долго читала и, укутавшись в ощущение, что все будет хорошо и обо мне помнят и заботятся, уснула. Я много раз носила передачи и писала письма политзаключенным, но, только оказавшись в камере сама, поняла, как это было для них важно, что это не просто еда и новости из внешнего мира, это внимание и забота, протянутая рука.

К вечеру в камеру привели девушку, тоже Настю. Поначалу я отнеслась к ней настороженно, думала, что подсадили провокатора, чтобы меня разговорить. С виду девчонка была совсем молоденькая, крепкого телосложения, с короткой стрижкой. Сразу обменялись статьями, за которые нас в этой клетке заперли. Я по номеру статьи сразу поняла, что Настя тут за наркотики, но не в крупном размере. Она же по номеру моей статьи не поняла совсем ничего. Я начала осторожно объяснять, что это за статья, но Настя потеряла интерес к моим проблемам уже на втором предложении. Ей было всего 18 лет, и волновало в тот момент девушку только ее мрачное будущее. Она одновременно хотела побыстрее мне все рассказать, курить, плакать, есть и спать. «Точно не провокатор», – подумала я, слушая рассказ о непростой жизни ростовского подростка.

Настя закурила. Я, конечно, совершенно не обрадовалась перспективе пребывания в еще более прокуренной камере, но лучше так, лишь бы снова не оставаться наедине с собой. Рассказ о превратностях судьбы не прерывался, Настя ела, плакала и ходила по камере, вспоминая сложные отношения с матерью, сомнительных друзей, брошенную спортивную секцию, приводы в полицию. Закончилась печальная история тем, что Настю поймали с закладкой на набережной Дона, долго допрашивали, угрожали, били электрошоком. Настя никого, с ее слов, не сдала, а вот ее друг Настю сдал, и теперь на горизонте пять или восемь лет колонии. А Настя на зону не хочет, конечно, она там не сможет, она вдруг очень захотела к маме домой. И понеслись обрывками новые воспоминания из детства. Почему так получилось? Я молчала, у меня не было ответа на этот вопрос, и я его себе задавала не раз.

Было уже довольно поздно по меркам изолятора. Настя выбрала кровать внизу, рядом со мной, постелила белье. Ей повезло – дали подушку. Но не дали книг. Настя не помнила, когда в последний раз читала. От пережитого за день, ночи без сна и сигарет у девушки разболелась голова, а таблеток не было. Она легла, продолжая что-то рассказывать. Через пять минут на стене камеры появилась свежая надпись: Настина кличка, дата и номер статьи. Так я поняла, чем тут царапают стены, – пластиковой вилкой, оставшейся после ужина. Я спросила ее, зачем она написала здесь о себе. Настя, не думая, ответила, что в камере потом могут оказаться ее друзья, они увидят ее кличку, узнают. «Может, в этом и есть смысл», – подумала я. Может, от этого друзьям Насти станет не так одиноко здесь?

Утро следующего дня нас встретило очередным хитом радио «Дача». Нам обоим в этот день предстояло покинуть изолятор и поехать в суд. Непонятно было только, вернемся ли мы обратно в камеру. В случае если нас решат отправить в СИЗО, после суда конвой доставит обратно в изолятор еще на несколько дней, пока не наберется группа для отправки в СИЗО. Я привычно уже попросила выключить радио, отказалась от завтрака и начала делать гимнастику. Настя давала рекомендации, как увеличить нагрузку на мышцы, но сама ко мне не присоединилась – по-прежнему болела голова. Таблетки выпросить не получилось. «Не положено». Стандартный ответ. Зато под угрозой обращения в ОНК удалось добиться того, чтобы принесли воду. Налили нам из-под крана целых пять литров и попросили экономить и употреблять только для питья. Мы радостно закивали и побежали чистить зубы.

Периодически громыхали железные засовы и слышны были крики: «(фамилия), на выход с вещами!» Мы с Настей ждали, когда же позовут нас. В ожидании я давала соседке по камере рекомендации, как вести себя с адвокатом по назначению, что говорить на заседании в суде, какие ходатайства заявлять. Опыт у меня был скромный, но у Насти не было вообще никакого.

Я несколько раз попросила ее назвать свою фамилию, чтобы потом по возможности навести справки и как-то помочь ей. К вечеру я фамилию Насти напрочь забыла. Слишком сложный был день.

За моей соседкой пришли до обеда, вещей у нее с собой не было, в изолятор Настя попала неожиданно для самой себя. Я осталась одна, продолжая прислушиваться к шагам в коридоре. За мной пришли после обеда. Дверь загромыкала, и в камеру вошли двое с криком: «Шевченко, на выводку!» Что такое выводка? Кто придумал такое слово? Я хочу на выход, вы ошиблись со своей выводкой. Почему не с вещами? Я собрала свою красную сумку еще утром. «Вещи не надо, ты все равно сюда вернешься», – отвечают мне спокойно и холодно. Ну уж нет, я возьму сумку с собой. На меня смотрели с удивлением или, скорее, с недоумением. Зачем я сопротивляюсь? Я намертво вцепилась в красную сумку. Забирать ее силой не стали. Мы с сумкой отправились к выходу. Моей задачей стало найти зеркало и проверить, не испугаю ли своим внешним видом детей и маму, а также вернуть наконец-то свой лифчик. В коридоре меня ждал конвой, на просьбу отдать мне бюстгальтер они отреагировали смехом. Что ж, одним унижением больше, одним меньше. Повели меня быстрым шагом в автозак с клеткой внутри. У входа я притормозила и потребовала еще более нелепую для конвоя вещь – посмотреть на себя в боковое зеркало автомобиля. Не знаю, как это объяснить, но ко всем неудобствам изолятора, одиночеству и стрессу очень большими мазками добавляются отсутствие зеркала, часов и плейлиста из твоего телефона. Теряется самоидентификация и время. Никто больше не называет тебя по имени. Ты теперь человек без лица. Это не унижает тебя напрямую, но как бы стирает из жизни.

Я была очень рада своему отражению в боковом зеркале автозака. Вот она я, вот небо, пусть даже на пару мгновений. Суд назначили на 16:00, мы выехали из изолятора заранее, наверное, потому что арестантам полагается долго ждать везде: в автозаке, в камере, в суде и т.д. Настроение у конвоиров было приподнятое, они шутили и расспрашивали, зачем мне лифчик и зеркало. Я объяснила, что на заседании в суде могут быть мои друзья и журналисты и надо выглядеть достойно. Одной этой фразой, сидя в темноте за решеткой маленькой камеры автозака, я вызвала неподдельный интерес. Спросили про статью, я назвала только номер. Недоумение в ответ. Неужели каннибализм? Какая-то редкая статья. «Политическая», – пояснила я, и разговоры утихли.

В Ленинском суде я была много раз, приходила поддерживать ребят, но с заднего входа заходила в здание суда впервые. Я попросила конвой вести меня в суд как можно медленнее, дышала полной грудью морозным воздухом. Идти от автозака до двери было шагов пять, но, казалось, мои конвоиры меня слышали и шли со мной эти пять шагов насколько возможно медленно. Я задрала голову вверх, чтобы посмотреть на небо. Снежинки падали на лицо. Это мгновение как в *slow motion*. Я старалась все запомнить, особенно темно-синий цвет неба в тот день. В здании суда меня сразу повели по узкой лестнице в подвалы, о существовании которых я раньше и не подозревала. Я всегда считала, что подсудимых доставляют в суд сразу из автозака, но внизу оказались тюремные камеры. Меня заперли в одной из них, размером метр на метр, стены все так же исписаны именами, датами и «Прости меня, мама». Я укуталась в пуховик, он по-прежнему пах мной и домом, и принялась читать арестантские приветы на грязно-голубых стенах. У конвоя началась какая-то суматоха, им постоянно звонили и что-то орали в трубку. Начальство требует усиления. Конвоир с виноватым видом встал напротив моей камеры: начальники приказали не сводить с меня глаз. Через минуту снова звонок – и вот меня выводят из камеры и переводят в другую, совсем крохотную, где можно только встать и сесть, но ни одного шага сделать уже не получится. Объяснили тем, что меня попросили посадить возле видеокamеры. Конвоир по-прежнему стоял у решетки. Теперь я действительно почувствовала себя Ганнибалом Лектором. Казалось, даже конвой недоумевал, потому что с

виду я больше похожа на одуванчик – пышные белые волосы, белый мех на светлой куртке, наивный взгляд.

Домашний арест, который казался тогда спасением, отдалялся от меня со скоростью света. Сотрудник, стоявший возле камеры, сказал, что такого «кипеша» в суде давно не было, и я точно уеду отсюда обратно в изолятор, ни на что другое надеяться не стоит. Все это было одновременно так унижительно и страшно, что все тело налилось свинцом, и, даже если было бы место, ходить по камере я бы уже не смогла. Так я просидела долго, заседание откладывали, просила воды, не давали. Неужели я больше не увижу детей? Как они будут без меня? Как Алина будет без меня? Ужас, сырой и холодный, как моя тесная камера. Заболела голова, а конвоир все повторял, что точно не домашний арест.

Жизнь продолжалась, я меняла работу, место жительства, родила сына, рассталась с мужем. К Алине ездили сначала с мужем, мамой и Владой, потом с мамой, Владой и Мишей. Если Влада сестру знала с рождения и все понимала, то маленькому Мише каждый раз приходилось объяснять, что сестра болеет, это надолго, она не может жить с нами. Мне не раз говорили: «Алина – это твой крест на всю жизнь. Не надо больше рожать детей, надо посвятить себя Алине». Но, обняв Владу с Мишей, я эти мысли отмечаю.

Мы ездили в интернат раз в три месяца – такое негласное правило установили. Иногда получалось реже, когда Миша только родился, например, или в интернате был карантин, а иногда чаще – когда Алина болела или надо было привезти лекарства. Болеет в последнее время Алина стала много, и это всегда было связано с легкими. Каждый раз нас отправляли в больницу города Шахты. Долго мы там не задерживались, быстро поправлялись. Потом я покупала нужные лекарства, и Алина снова уезжала в интернат. Я всегда была с ней в больнице, но не всегда получалось там оставаться надолго, поэтому нанимала сиделок из персонала той же больницы. Это были женщины с трудной судьбой, для которых каждая копейка была на счету, но все они относились к Алине с теплом и заботой.

Мы со всеми из них подолгу говорили. Первая со слезами рассказывала о внучке с ДЦП, которая умерла в 16 лет. Девочка была тяжелой, за ней ухаживал дед, он очень ее любил. Денег не хватало не то что на лечение, даже на еду, и женщина рада была подзаработать, заботясь об Алине. С другой нашей сиделкой случилось несчастье. Мы приехали с Владой в больницу утром, привезли каши, памперсы, лекарства Алине. В ночь перед нашим приездом у сиделки погиб в автокатастрофе сын. Весь персонал больницы горевал, главный врач суежилась, собирала деньги на похороны. Мы весь день тихонько сидели в палате с Алиной, она шла на поправку. Мне казалось, что, как только я приезжаю, ей становится лучше. Я держала ее ладошку в своей и делилась энергией и уверенностью, что все будет хорошо, и болезнь отступала. Вечером надо было возвращаться домой: Владе в школу на следующий день. Я хотела найти другую сиделку, но женщина, потерявшая сына, позвонила сама, сдавленным голосом сказала, что будет и дальше ухаживать за Алиной, она не может сейчас оставаться дома, ей нужно отвлечься, нужно помочь чужому ребенку, раз своему уже не поможешь.

8

По ступенькам вверх меня повели в суд. На минуту конвоиры остановились, толпясь в узком проходе, чтобы вполголоса проинструктировать о том, что, войдя в клетку в зале суда в наручниках, я потом должна повернуться спиной и протянуть руки в щель, чтобы наручники сняли. В клетке я остаюсь без наручников. Выхожу таким же способом: спиной к конвою – наручники – спуск в камеру подвала на время обдумывания решения судьей. Я послушно кивала, конвой мне казался такими же растерянным, как я. Спросили, не туго ли застегнуты наручники, не больно ли. От каждого слова заботы хотелось реветь. Наручники меня совсем не беспокоили. Когда меня повели по коридорам, я не узнавала ничего вокруг. Я была окружена шестью сотрудниками конвоя, а в лицо светила лампа телевизионной видеокамеры. Меня

быстро провели в маленький зал, битком набитый знакомыми людьми, завели в душный стеклянный аквариум, я делала все по инструкции, как будто не в первый раз. Маленькую клетку конвоиры обступили со всех сторон, да и слава богу: вид у меня, наверное, ужасно потрепанный после двух суток в изоляторе. Рядом с клеткой стоял мой адвокат, больше всего я была рада видеть именно его. Напротив – следователь Толмачев и прокурор. Чтобы услышать, что говорит адвокат, я просунула лицо в щель стеклянной клетки. По его рекомендации мне предстояло рассказать о своих детях, подробно об Алине и ее диагнозе. В зале были друзья, журналисты, знакомые и просто любопытствующие. Я не могла представить, как я буду говорить о таком личном, о детях и их болезнях, во всеуслышание, под пристальным взглядом конвоиров. Но, чтобы снова увидеть детей, надо было пройти через это. Я спросила адвоката, чего будет требовать обвинение – СИЗО или домашнего ареста. Адвокат буднично ответил, что, конечно, домашнего ареста. Свинец из тела понемногу начал уходить.

Глаза привыкли, и я стала рассматривать людей вокруг. Улыбалась и махала рукой пришедшим меня поддержать, думая только об одном: не реветь. Бывают вещи, о которых тяжело говорить даже близкому человеку, а в суде уж тем более. Когда мне было 18, я попала в автомобильную аварию и долго лежала в больнице. После выписки я боялась ездить даже на трамвае так сильно, что мгновенно поднималась температура. Несколько лет после аварии я могла ездить с кем-то в машине, только вцепившись в дверную ручку и замирая на каждом повороте. Страх прошел только спустя год после получения собственных прав и небольшого опыта вождения. И мне много лет было сложно рассказывать об этой аварии, начинал дрожать голос, болела голова. Об истории с Алиной рассказывать еще сложнее. Это одна большая трагедия, с которой не свыкнуться никогда, и легче с годами не станет. Говорить о ее диагнозе, состоянии и его причинах я могла только с такими же мамами тяжелобольных детей и врачами, когда мы проходили курсы лечения. Поэтому знали об Алине только родственники, несколько моих друзей и коллег. А теперь я вынуждена все рассказывать посторонним людям, чтобы они меня пустили к дочери. Если мама и младшие дети, пусть не самые самостоятельные, со временем бы справились без меня, то Алина без меня не справится.

Говорила про детей я тихо: мешал ком в горле. Стоять в клетке и просить судью не страшно – это унижительно. Но со временем я поняла: унижительных положений нет, если сам не унизишься. Это очень непросто, но, мне кажется, у меня получилось не унижаться, хотя бы для того, чтобы не радовать лишний раз моих обвинителей.

Стоял жаркий летний день, мне 18, я вышла за мороженым в желтом топе и короткой черной юбке. Наш сосед с первого этажа недавно купил машину – белую тойоту. Они с семьей и друзьями провели весь день на природе, у речки. Вернувшись, поняли, что забыли какие-то вещи, позвали поехать с ними, прокатиться на новой машине. Делать мне было абсолютно нечего, я согласилась. Сосед за рулем, рядом наши друзья и я. Он ехал быстро и на первом же повороте на трассе не справился с управлением. Я помню все как в замедленной съемке: играет музыка из итальянского фильма, колеса отрываются от земли, и машина в воздухе наклоняется вправо. Мне страшно. Темнота. Следующий кадр – я лежу на земле, и надо мной голубое и чистое небо. Красиво. Прихожу в себя и резко встаю, отряхиваю пыльную одежду. Я босиком, обувь примерно в метре от меня. Удивляюсь, почему я так странно разулась. Ничего не помню. Потом вижу метрах в трех-пяти от меня машину, которая стоит на крыше. Кружится голова, больше не могу стоять. Меня поддерживает сосед, а друзья, раскачивая машину, переворачивают ее с крыши на колеса. Сыпется стекло, они смахивают его с сиденья и усаживают меня в машину. Резко включается итальянская песня, пугает меня. Меня спрашивают, что и где болит. Ничего не болит, просто кружится голова. Замечаю кровь на ногах, говорю, что, наверное, болят колени. Очень долго ребята стоят на трассе и просят проезжающих отвезти меня в больницу – все отказываются. Я в крови, у остальных ни царапины. Кто-то все-таки

решается отвезти меня в ближайший госпиталь. Никто не помнит, когда и как меня выкинуло из машины: лобовое стекло пошло паутиной, но осталось на месте. Я не была пристегнута. Крыша машины в том месте, где сидела я, вдавлена до пола. Пристегнутая я бы не выжила. Было ощущение, что меня вынесли и положили рядом с машиной на землю. Гематомы, перелом, ушибы и черепно-мозговую травму я лечила долго. Однажды в госпиталь пришел мужчина, сел напротив кровати и сказал: «Я – друг твоего папы. Он тебя ищет и очень хочет встретиться». Я вспомнила, что мне исполнилось 18, значит, папа не соврал.

9

Судья Осипов оглашает решение. Домашний арест. Покидать дом нельзя, пользоваться интернетом нельзя, общаться с друзьями нельзя, звонить никому, кроме адвокатов и следователя, нельзя. В интернат к Алине ездить тоже нельзя, но можно звонить.

Отношение конвоя ко мне сразу изменилось. Я вдруг снова стала человеком: меня начали называть по имени, сняли наручники. После заседания конвой вернул меня в подвал, но уже не в камеру. Усадили на стул и принесли воды, хотя до заседания утверждали, что никакой воды у них нет и не будет. В подвале меня уже ждал инспектор ФСИН Сергей, он знал заранее о решении суда. В ближайшие месяцы мне редко когда удастся выйти на улицу без Сергея. Тем не менее хоть какая-то возможность управлять своей жизнью и жизнью семьи вернулась.

Домой, на нашу съемную квартиру, я больше не вернусь. 21 января, в понедельник, я ушла из квартиры навсегда. Но мой дом там, где дети. Сергей везет меня на служебной машине ФСИН в квартиру, предоставленную Натальей. Я вглядываюсь в дома и вывески вокруг. Надо все запомнить, чтобы потом помочь маме и детям сориентироваться в незнакомом районе. А еще запомнить этот день. На улице темно, и сложно что-то разглядеть. Перед нами на своей машине ехала Наталья, показывала дорогу.

Квартира оказалась очень уютной. Я наконец сняла тяжелые зимние ботинки и ходила босиком хвостиком за Натальей, которая проводила экскурсию по сорока пяти квадратным метрам.

Сергей с коллегой установили телефон ФСИН, трогать который мне сразу запретили, а потом повесили мне на ногу браслет. Спросили, на какой ноге мне будет удобнее его носить. Удобнее его было бы вообще не надевать. Ногу выбрали левую. В дверь неожиданно позвонили. Я надеялась, что это дети, но за дверью стоял Коля, молодой юрист, мой друг, честный и открытый парень, который пришел помочь с переездом и узнать, какие вещи мне сейчас нужны. Оказалось, у подъезда ждали и другие ребята, мои коллеги по «Открытке». Появление Коли рассердило и инспектора Сергея, и Наталью. Все очень боялись любого нарушения правил домашнего ареста. Колю отправили на улицу, к нему спустилась Наталья, а позже ушел и инспектор. Я осталась одна у себя дома. В незнакомой квартире. Сидела на диване и разглядывала браслет. Как он работает? Не ошиблась ли я, выбрав левую ногу? Как он связан с проводным телефоном, который установил инспектор? Вопросов было больше, чем ответов. Постучала по круглой коробочке браслета – по звуку пустая. Получается, я теперь заложница? За мной официально следят? Браслет довольно легкий по весу, не кандалы. Мне вспомнилась картина голландского художника Фабрициуса «Щегол»: художник изобразил маленького щегла, к лапке которого прикована цепочка. Чтобы он мог взлететь, но улететь не мог. Вот и я попала в ловушку. Невидимая цепочка между мной и инспектором. Мне очень хотелось снять поскорее пропахшую табаком одежду, смыть запах изолятора, но сначала увидеть детей. Казалось, что я не видела их целую вечность. Лишь бы они не заплакали при встрече, хотя теперь-то можно было и поплакать.

Мише семь, он очень ласковый и ранимый мальчик, макушка еще пахнет ребенком, мы часто обнимались. Владе четырнадцать, с ней мы уже редко обнимались или нежились, как говорит моя мама, но именно она при встрече бросилась меня обнимать так крепко, что можно было понять, чего ей стоило это расставание. Влада уткнулась в меня лицом, Миша обхватил

руками, и так мы стояли в коридоре, окруженные принесенными ими сумками и пакетами. Рядом стояла мама. Мы вчетвером были совершенно искренне счастливы, ни о чем плохом не думалось. Этот момент абсолютного счастья я запомню на всю жизнь.

Душ, ужин, бесконечные объятия и разговоры допоздна о том, как ходили в школу без меня, как Влада плакала по ночам, как стойко держалась мама, о тараканах в изоляторе. В школу на следующий день решено было не идти. Дети с любопытством разглядывали браслет на ноге. Влада сфотографировала его и выложила в фейсбук – так появился ее блог «Хроники домашнего ареста». Вела она его сама, а комментарии мне зачитывала вслух. День начался в шесть утра с радио «Дача», а закончился дома. Спали мы в обнимку. Я долго лежала в темноте и думала, какое счастье, что рядом сопят дети. Я вернулась.

Мое первое воспоминание из детства – я сижу на коленях у папы, и мы прощаемся. Папа у меня всегда ассоциировался с его любимым героем фильма «Мимино»: тоже грузин, тоже летчик, такой же романтик с бесконечной любовью к небу. Я не была запланированным ребенком, сохранить отношения родители после моего рождения не смогли. Но я всю жизнь очень сильно любила папу. Мне года четыре, а папа говорит, что ему нужно уехать, но он меня любит и обязательно найдет, когда мне исполнится восемнадцать. Я очень ждала свои восемнадцать лет. И папа меня нашел, и мы встретились, как будто не было долгой разлуки. Он понимал меня с полуслова. По одному слову «алло» мог понять, что у меня что-то не так. После своего шестидесятилетнего юбилея папа прожил недолго, но он успел побыть дедом для всех моих детей, и я всегда буду по нему тосковать. В отчестве, которое досталось от папы, в загсе при регистрации допустили ошибку. Так я стала Нукзариевной вместо Нугзаровны. Мама не хотела менять свидетельство о рождении, а я со временем к странному отчеству привыкла. Таких больше нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.